

Счастье: неожиданный мотив творчества Андрея Платонова?

Мурзин Н. Н.,
кандидат философских наук, научный сотрудник
Сектора философских проблем социальных и гуманитарных наук
Института философии Российской академии наук,
shywriter@yandex.ru

Представленный текст —
оригинальный манускрипт,
ранее не публиковался.

Аннотация. Тема счастья играет огромную роль в творчестве А. Платонова. Платонов постоянно и разносторонне обращается к ней, развивая ее как в положительном, так и в отрицательном ключе, передавая сложность мира и человеческого существования, в котором счастье непрерывно переплетается с горем, эмоции переходят в работу мысли, отдельная жизнь обретает смысл в контексте общечеловеческого удела, а романтическая тяга к выходу за пределы привычного и известного уравнивается глубоким и сострадательным всматриванием и, в конечном итоге, принятием бытия как оно есть.

Ключевые слова: А. Платонов, счастье, горе, сострадание, любовь, идеализм, энтузиазм, другие, благо, жизнь.

Человек еще не научился мужеству непрерывного счастья — только учится.

А. Платонов¹

Андрей Платонов традиционно считается мрачным, даже жестоким писателем, певцом человекоубийственного советского гротеска. Но если выйти за пределы критического шлейфа, окружающего его и закрепляющего за ним эту славу, и просто подсчитать, сколько раз на страницах его произведений упоминается в разных наклонениях слово «счастье», станет понятно, что мир для писателя не всегда был той «вселенной смерти» (термин Ж. Деррида), с которой мы сталкиваемся в «Котловане» и «Чевенгуре». Мир этот полон разительно живых людей, которые с особой отчетливостью ощущают жизнь в себе и осознают, что цель и образ этой жизни — всякой жизни — жизни вообще, как таковой — не что иное, как счастье. Жизнь у Платонова сильнее смерти, и вглядываясь в себя, она видит добро и желает добра. Это ее пожелание, захватывающее отдельные живущие существа и возвышающее их до степени сознательности, до «живой души», и есть образ счастья. Об этом, и ни о чем другом, последний, неоконченный роман Платонова «Счастливая Москва» (что отражено буквально в названии) и повесть «Джан». Само слово «джан», как поясняет Платонов в начале повести, согласно туркменскому народному поверью, означает «душа, которая ищет счастье»². И мы видим, внимательно читая Платонова, что каждый его герой —

¹ См. Платонов А. Собрание сочинений. Т. 4. — Москва, 2011. — С. 110.

² Там же. С. 111.

такая душа. Он чем-то схож с Достоевским; подобно тому, как у Достоевского герои служат олицетворением идей, так почти каждый герой Платонова — определенный извод представления о счастье как о синтетическом образе и цели жизни. Различаясь полом, возрастом, жизненными обстоятельствами, все они стремятся к счастью и по-своему обретают его; опираются в его объективации как на собственные силы и желания, так и на некий внешний порядок и смыслы; всем им, изначально или в конечном итоге, не мешают быть счастливыми неустроенность и бытовые трудности. В итоге они как бы играют друг на друга, добавляя каждый свой элемент в мозаику «счастливого человека», набираемую Платоновым, живут в тесном единении и предельном напряжении мысли, чувства, воображения и воли — поскольку все эти различные линии человеческой эволюции порождает и обнимает собой жизнь, и только она может их продуктивно соединить, а объединение это возможно только в стремлении жизни к ее собственной сущностной цели. Как дорожные знаки-указатели, судьбы героев Платонова отмечают все узловые моменты роста и развития жизни, нацупывающей пути к счастью. При этом множественность аспектов счастья у Платонова, равно как и множественность реализующих их героев, — не калейдоскопический взрыв несводимых случайностей, но ветвление (в процессе целенаправленного роста) органической целостности владеюще-сознающей себя жизни.

В качестве иллюстрации этой мысли рассмотрим несколько произведений Платонова (выборка произвольная): уже упомянутые «Счастливая Москва» и «Джан», а также рассказы «Семен», «На заре туманной юности», «По небу полуночи» и «Река Потудань».

1. Счастье и несчастья счастливой Москвы

Платонов — не Гете и не Горький. Будучи сколько угодно философом, даже метафизиком, он никогда не начинает с «пролога на небесах», с теоретических пролегомен, открывающих величие жизни самой по себе, ее могущество и абсолютность как субстанции. Все у него всегда начинается с отдельных людей, с осознания ими себя и своей отдельной маленькой жизни. Жизнь эта зачастую трудна и безрадостна, а сознание их, соответственно, вполне по Гегелю «несчастно». Однако же за этими несчастьями уже проглядывает нечто иное.

Так, антитетически, начинается «Счастливая Москва». Главной героине романа, девочке-сироте, дают имя Москва и фамилию Честнова; делается это «в знак честности ее сердца, которое», внимание, «еще не успело стать бесчестным, хотя и было долго несчастным»³. Сердце Москвы долго было несчастным оттого, что на ее долю выпали многочисленные лишения и испытания: «Отец ее скончался от тифа, а голодная осиротевшая девочка вышла из дома и больше назад не вернулась». Далее, некое неопределенное время, она «с уснувшей душой, не помня ни людей, ни пространства... ходила и ела по родине, как в пустоте, пока не очнулась в детском доме и в школе». Там, однажды, она и возвращается в сознание (не в медицинском смысле), начинает выходить из спячки души. «Она сидела за партой у окна, в городе Москве. Был конец сентября месяца и тот год, когда кончились все войны и транспорт начал восстанавливаться»⁴.

Москве, если верить названию, предстоит стать счастливой. Но где же здесь счастье? Положительных его источников в ее жизни на данном этапе нет, или больше нет. Возможно, ее первое счастье, как в знаменитом определении Эпикура, будет заключаться не в себе самом, но в отсутствии своей противоположности, т. е. страданий? Ведь

³ Платонов А. Собрание сочинений. Т. 4. — Москва, 2011. — С. 12.

⁴ Там же. С. 11–12.

в детском доме, и позднее, Москва формально уже не несчастлива — если под несчастьем, как в первом фрагменте, подразумевать внешние, мучающие человека неблагоприятности. Однако, по мысли Платонова, счастья в жизни Москвы пока что нет; в лучшем случае, имеется относительно спокойное и наладившееся ее течение. Но минус на минус не дает плюс автоматически. Платонов отвергает наивное приземленное эпикурейство: мол, жив-здоров, сыт-согрет — вот и радуйся. И в начале своей истории Москва как бы в серой зоне между счастьем и несчастьем; ей еще только предстоит переход, трансформация не-несчастья в счастье — поворотный пункт самоощущения, эвкатастрофическое опрокидывание жизни, «отрицание отрицания». Когда она станет внутренне, сама по себе, по-настоящему счастлива, она это поймет, отчетливо осознает. Возможно, кстати, самосознание, подлинное и полное осознание себя вообще происходят только через счастье, подобно тому, как цветок целиком распускается в тепле и на свету.

Задел для этого имеется. Ведь, мы помним, несмотря на отсутствие то ли самого счастья, то ли необходимых для него условий (нормальное детство, мирное время, комфорт, живые и любящие родители), Москва не стала в своем сердце «бесчестной», плохой, озлобившейся. Несчастье в ее жизни было — и миновало, не повредив нечто существенное в самом ядре того организма-личности, который зовется «человеком». Знак этой глубинной незадетости несчастьем и есть отсутствие темного осадка в душе Москвы. А это достаточное основание и первая ступень к будущему счастью, к дальнейшему пробуждению души, пока что дремлющей, как семечко в мерзлой земле. Иначе говоря, несчастье, окружавшее Москву внешне, не проникло в ее психику, не пропитало душу, не поселилось по-настоящему внутри, чтобы привести к отчаянию и злобе.

Заслуга ли это самой девочки? Ребенок лишен сознательности и стойкости, не может толком опираться ни на волю, ни на моральные установки. Относительно неплохое «исходное состояние» Москвы — скорее, результат случая и хорошего задела. Людей, которые позаботились бы сообщить ей подлинное счастье, вокруг нет; при самом позитивном раскладе, окружающие не причиняют ей дополнительного несчастья или отводят его. Так какая же сила сможет обеспечить ей переход к счастью от Эпикурова «отсутствия страданий»?

В данном случае, по мысли Платонова, работает сама жизнь. Стоит хоть немного восстановить ее от ущерба («кончились войны», отмечает автор), вернуть в устойчивое состояние (гомеостазис), в «порядок», чтобы она снова стала «благом» — как она сама начинает вырабатывать энзим самоудовлетворения, которым щедро делится с индивидуумами. Это счастье от достижения жизнью первого существенного момента ее равенства себе. Если жизнь наладилась (и ее собственная, и вся вокруг), Москва начинает (глубина ее жизненных сил не задета, не травмирована — от ранних своих несчастий она просто впала в спячку души, но спячка эта по-своему помогала сохранить и накопить какую-то природную силу, сок) выходить из серой зоны, преобразовывать не-несчастье в счастье, как минимум, в его первые ростки. Это происходит природно, физиологически, стихийно. «Каждое утро, просыпаясь... она долго смотрела на солнечный свет в окне и говорила в своем помышлении: «Это будущее время настает», и вставала в счастливой безотчетности, которая зависела, вероятно, не от сознания, а от сердечной силы и здоровья»⁵. В другом месте говорится, что она ценила в себе «дар юности и выросшей силы»⁶. Постепенно ее глаза начинают блестеть «ясностью счастья»⁷.

Фантастика? Отнюдь. Нечто схожее Платонов описывает в рассказе «Семен», про мальчика из бедной семьи. «Есть время в жизни, когда невозможно избежать своего

⁵ Платонов А. Собрание сочинений. Т. 4. — Москва, 2011. — С. 12.

⁶ Там же.

⁷ Там же. С. 17.

счастья. Это счастье происходит не от добра и не от других людей, а от силы растущего сердца, из глубины тела, согревающегося своим теплом и своим смыслом. Там, в человеке, иногда зарождается что-то самостоятельно, независимо от бедствия его судьбы и против страдания, — это бессознательное настроение радости; но оно бывает обычно слабым и скоро угасает, когда человек опомнится и займется своей близкой нуждой. Семен часто просыпался нечаянно счастливым, потом одумывался и забывал, что ему жить хорошо»⁸. Платонов как бы перефразирует известную формулу «красота — это обещание счастья». Он, наверное, мог бы сказать, что счастье — как эмоция, состояние — само по себе обещание: обещание жизни. Все вокруг непросто, трудно, но организм счастлив, пока ощущает в себе самостоятельную силу жизни, разворачивающуюся в нем, — подобно тому как растение пробивается сквозь твердый грунт, просто следуя своей природе и высвобождая свою силу.

Человек у Платонова некоторым образом никогда не одинок. Жизнь, породившая и питающая его, пребывает рядом с ним даже в его кажущейся отделенности от всех и вся. Более того, в какой-то момент это ее присутствие усиливается и возрастает настолько, что сознание человека захлестывает невероятное ощущение поддержки, могущества, перекрывающего все его несчастья. Это и есть первая, авансовая эмоция счастья. Однако на этом этапе сила жизни лишь подпитывает своего носителя, не позволяя ему зачахнуть в неблагоприятных обстоятельствах. Далее она дает ему возможность изменить это неблагоприятствование. А с какого-то момента он получает удовольствие, становится счастлив уже от осознания этой своей возможности вносить изменения, формировать, в большей или меньшей степени, свой жизненный контекст. Так, возрастая в собственной определенности, во владении собой и своими силами, жизнь делает счастье из обстоятельства предметом воли и разума, целью и образом сознания.

К людям. Платонов как анти-Сартр: другие — это рай?

Когда счастья нет, не хватает, когда оно утрачено, оно воспринимается как золотая мечта, как чаемая более всего драгоценность. Когда же оно приходит, вдруг выясняется, что оно есть нечто абсолютно естественное, как воздух: привычное, необходимое, основное. Оно становится «обыкновенным», начинает светить ровно. Счастье — это не редкие, уникальные, выдающиеся моменты жизни, а жизнь сама и вся, как она есть, обыкновенная, радующаяся себе. И человек, отведавший простого счастья жизни, уже отождествляет счастье — с жизнью, а жизнь — просто с собой, со своим, и хочет и дальше так. «Хочется жить обыкновенно со счастьем», — думает Москва⁹. Но неожиданно выясняется, что для того, чтобы жить «счастливо и обыкновенно», ей уже мало себя. Еще вчера было достаточно, а сегодня уже нет. Жизнь из нее начинает стремиться вовне, дает знать, что теперь ей нужно больше, нужно что-то или кто-то еще (не в эгоистическом смысле использования). Жизнь растет в человеке, и в какой-то момент перерастает его отдельную форму, в должной мере укрепив ее. Она меняет свое русло, разливается. И вот уже Москва начинает *томиться*. Она не знает, «к чему ей привязаться, к кому войти, чтобы жить»¹⁰. Это жизнь томится в ней. И сознание, откликаясь на волю жизни, исполняется соответствующих эмоций и интенций.

Ключом к следующему уровню счастья становится томление по другому и другим. В такое время человек вдруг перестает ощущать счастье в своей жизни. Прежние его источники как бы иссякают, или сильно умаляются, или банально приедаются,

⁸ Платонов А. Собрание сочинений. Т. 4. — Москва, 2011. — С. 460–461.

⁹ Там же. С. 12.

¹⁰ Там же. С. 67.

превращаются в обыденность. Так или иначе, они уже не удовлетворяют. Романтизм прочитывает это прямо и превращает в трагедию, в тему «утраченного времени» и «потерянного рая». Но в действительности это происходит не потому, что счастья мало, или что оно маленькое и кончается, а ровно наоборот — потому что оно устремляется к увеличению своего масштаба и превосходит в этот момент самого человека как отдельность. Ницше, поэт жизни и ее восторгов, говорит: человек есть то, что должно превзойти. Сравним это с крепостью. Когда она отстроена, она может довольствоваться собой просто как одиноким укреплением. А может стать центром целого нового поселения, сформировать вокруг себя город, страну, государство. Чтобы оставаться равной себе, жизнь должна постоянно расти. Если хочешь остановиться на достигнутом, теряешь и его. Сила, создавшая крепость, не равна крепости; она больше. Но в то же время это та же самая сила.

Жизнь идет дальше и ведет Москву своей дорогой открытий и перемен. Успокоиться, остановиться на себе и своем (шариковское «утвердился я в этом доме») она не дает. И вот уже Москва, подросшая немного, начинает «как всякий молодой человек... искать дорогу в будущее, в счастливую тесноту людей»; ее руки томятся «по деятельности»¹¹.

Платонов хочет, не покидая пределов жизни, не предаваясь никакому абстрактному или сверхъестественному началу, обосновать переход человека от природности — к социальности, от эгоизма — к общему интересу и начаткам морали. Понятно, что и эгоизм показан Платоновым чрезвычайно естественным и добрым; это не «черный» эгоизм подлости и злобы, а лишь невинное самоупоение жизни в отдельно взятом ее существе. Но все равно, жизнь — движение и развитие, цель которого — все большая полнота и гармония бытия. Она не может вечно упиваться одним-единственным своим состоянием. Она ищет другую жизнь, чтобы возрастая в счастье узнавания, обретения, приращения себя и своей мощи. Здесь снова Ницше и Гегель — собеседники Платонова. У Гегеля высшее состояние и цель духа — опознание иного как себя же, обретение себя в ином, и через это — снятие границ субъективного и объективного, переход в состояние абсолютности (формой чего выступают общество и государство). На этом этапе жизнь совершает диалектический поворот и снова делает источником счастья индивида внешнее, общее, других. Но это не возвращение к прежней, детской зависимости. Теперь это внешнее/общее/другие — предмет нацеленности, сознательного стремления. Человек обретает себя в них, а не сливается, растворяется в их массе. Они нужны ему для его счастья, и он это понимает.

Следуя за меняющейся психологией Москвы, Платонов вводит через описание ее переживаний сразу множество тем. Не только некие другие, сами по себе, здесь появляются. Во-первых, открывается перспектива *времени*: Москва ищет дорогу «в будущее». Она и раньше ощущала, что будущее буквально «наступает» в ее жизни, более того, что оно означает счастье, и наоборот, раз прошлое маркировано несчастьем, а настоящее — серая зона ни того, ни другого. Теперь будущее, со всем отчетливостью целеполагания, уравнено со «счастливой теснотой других людей». Оно призывает саму Москву в эту тесноту, по крайней мере, дорога к нему лежит *через* эту тесноту. И сама эта теснота описывается не иначе как «счастливая». Тут возникает вопрос: что означает этот эпитет? Что счастливы люди, создающие эту тесноту и пребывающие в ней? Или что эта теснота делает счастливой стремящуюся к счастью и будущему (своим) Москву, но сама теснота и люди, создающие ее, могут быть и счастливы, и индифферентны, и даже не очень счастливы? Определенного ответа Платонов не дает. Углубляясь в «Счастливую Москву» дальше, мы увидим, что он вовсе не рисует мир одной краской, только через

¹¹ Платонов А. Собрание сочинений. Т. 4. — Москва, 2011. — С. 13.

расцветающий оптимизм главной героини. Но намек дан в слове «теснота». Люди, образовавшие ее, сбились вместе, очевидно, потому, что, как и Москва, были движимы тем же стремлением к другим. Жажда счастья тянет к другому, тянет всех вообще, и так формируется *общество*. Но цель и одновременно причина общества — тяга каждого составляющего его отдельного человека к счастью.

Будущее, открытость — это несет с собой интенсификация жизни, ее количественное и качественное увеличение. Распахивается некая протяженная перспектива, несхожая с прежним этапом и картиной в виде замкнутого, самодостаточного шара обретшего себя микрокосма (этакое парменидово мини-Единое). Жизнь — процесс, она напрямую связана со временем и его сознанием. И в этом, следуя за Платоновым, мы перемещаемся уже в область, подобную феноменологии с ее экспликацией временности. Из круга настоящего, очерченного теплым светом утвердившейся жизненной силы, мы снова выходим к размыканию, горизонту, просвету, нацеленности на/в/к иному. Это немного походит на принцип отложенного удовольствия в психологии: зрелое сознание все более способно помещать свое благо на расстояние, и это расстояние скорее даже временное, чем пространственное. Чем больше наша сила (а сознание — это счетчик, фиксирующий ее рост, в частности, через такой аффект, как счастье, и здесь Платонов снова сближается с Ницше и, в целом, с философией жизни), тем больше делается мир; мир растет вместе с нами. Смысл жизни не в том, чтобы, не выходя из песочницы, вымахать в ней в великана. Чем сильнее ты сам, тем труднее и грандиознее цели тебе предстают, и тем дальше они, тем больше усилий требуют для своего достижения и осуществления.

Но самое, наверное, важное слово в анализируемой нами формуле Платонова — *деятельность*. Труд, хоть это и затерто, делает человека человеком. Москва вдруг начинает испытывать желание быть вместе со всеми, в счастливой тесноте и в деятельности. Люди вместе же не просто нежатся на солнышке, и оттого счастливы. Счастье в них — от силы, а сила жаждет проявления в действии, щекочет изнутри. Она иначе вообще не видна, и без реализации в действии способна восприниматься разве что как нечто потенциальное (аристотелева *dynamis*, которая должна перейти в *energeia*, т. е. осуществиться на деле и в деле). Сила сродни времени; она должна идти, происходить и воздействовать на иное, чтобы обнаружить себя. Сила и время процессуальны. Но если внешнее время, время мира, идет независимо от человека, и самого человека увлекает в своем потоке (это сила сама по себе — или сила Бога, творца и управителя мира, если вы религиозны), то внутреннее время человека зависит только от него. Человек — это сгусток своего собственного времени. Он властен лишь над одним — запустить его или нет, начать реализовываться или застыть в неопределенности, на пороге бытия.

Москва переступает этот порог относительно гладко, хотя бы сознанием. Она начинает стремиться к другим, равно как и к деятельности, и эти две составляющие ее стремления складываются в фокусе ее «я» и заставляют мечтать о труде, направленном ко всеобщему благу. «Ее воображение работало непрерывно и еще никогда не уставало — она чувствовала в уме происхождение различных дел и мысленно принимала в них участие; в одиночестве она наполняла весь мир своим вниманием. Москве Честновой не столько хотелось переживать самой эту жизнь, сколько обеспечивать ее — круглые сутки стоять у тормозного крана паровоза, везя людей навстречу друг другу, чинить трубу водопровода, вешать лекарства больным на аналитических весах — и потухнуть вовремя лампой над чужим поцелуем, вберя в себя то тепло, которое только что было светом»¹². Став сама «счастливой», она хочет отблагодарить за этот дар сообразно. И одновременно она как бы вкладывается своим индивидуальным счастьем во всеобщее, переводит

¹² Платонов А. Собрание сочинений. Т. 4. — Москва, 2011. — С. 22.

добытое для себя из природы добро — в расположение к людям, к миру. Крепость достаточно укрепились и собирается стать столицей; она готова, вся устремлена к этому. Не за этим ли Платонов дает своей героине имя города, столицы обновленной России? Если так, то Москва как центральный персонаж имеет огромное метафорическое значение — она олицетворяет душу страны, сердце ее жизни, незатронутое, хоть и омраченное бедами и лишениями. Мысль Платонова проста: дайте восстановиться чему-то основному в жизни людей — и оно обратно восстановит вас.

Здесь, конечно, силен соблазн отождествить это загадочное «что-то» с *властью*. Мол, восстановите власть, порядок — а уж она в ответ позаботится о вас. Зря, что ли, столица — это в первую очередь место, где заседает верховная власть страны? Но власть чаще и проще всего отождествляется с силой, с чем-то мужским. Москва же у Платонова — девочка, девушка, потом молодая женщина. Ее женственность несомненно указывает на некое совершенно иное значение этого решающего средоточия жизни.

Ловись, счастье, большое и малое

Именно достигнув этой точки, простым и гладким поступательным движением, мы осознаем, что вообще-то это точка бифуркации. Говоря опять-таки затертым языком, речь идет о разнице между счастьем общественным, всеобщим, абстрактным — и личным, конкретным. Единая прежде дорога вдруг расходится на две: радость и любовь. Обрести счастье можно не только с *другими*, но и с неким совершенно определенным *другим*. Взрослой Москве хочется «жить обыкновенно со счастьем». Только теперь это уже не обязательно то большое всеобщее счастье, в которое, как река в море, впадает индивидуальное существование — та «счастливая теснота» и деятельность (вспомним пастернаковский «труд со всеми заодно» и «общий правопорядок»). Есть и другая возможность: узнавать «единственное счастье теплого человека на всю жизнь»¹³.

Москву подстерегает новое испытание — на этот раз раздвоением смысла счастья и, соответственно, пути к нему. Раздвоившийся в точке бифуркации путь жизни ведет теперь к другим вариантам их счастья, и к разным персонажам, реализующим их.

Вот Ольга, девочка из рассказа «На заре туманной юности». Она во многом двойник Москвы — тоже сирота, и проходит в своем эмоционально-интуитивном постижении счастья похожие этапы, может, даже более отчетливые.

«Тревога и грусть перед жизнью, вызванные в Ольге смертью родителей, ночлегом у тетки и сознанием, что все люди обходятся без нее и она никому не нужна, теперь в ней прекратились. Ольга понимала, что она теперь дорога и любима, потому что ей давали одежду, деньги и пропитание, точно родители ее воскресли и она опять жила у них в доме. Значит, все люди, вся Советская власть считают ее необходимой для себя и без нее им будет хуже. И Ольга училась с прилежным усердием, чувствуя в себе спокойное, счастливое сердце, лишь иногда оно томилось в ней неутешимым воспоминанием об отце и матери, и девочка хотела, чтобы ее снова любил кто-нибудь — отдельный человек, подобно отцу или матери, а не все люди, которые сейчас ее кормят и учат, но которых она хорошо не знает. Просыпаясь по ночам, Ольга забывала, что она лежит в общежитии, ей казалось, что рядом с нею спят в сумраке на своей старой кровати мать и отец... Но глаза ее понемногу привыкали к сумраку, и девочка видела спящую подругу-соседку, пятнадцатилетнюю Лизу. Подруга всегда спала кротко, тихо дыша спокойным телом, ей, может быть, снилось ее девичье предчувствие — будущая счастливая жизнь»¹⁴.

¹³ Платонов А. Собрание сочинений. Т. 4. — Москва, 2011. — С. 19.

¹⁴ Там же. С. 495–496.

Прост и известен этот смысл счастья — быть кем-то любимым (или жить в ожидании, предчувствии любви), а также найти свое место в жизни. Переживания Ольги понятны и вызывают симпатию. Быть и ощущать себя частью общества, не чужого тебе, заботящегося о тебе, принимающего и рассчитывающего на тебя — важнейший источник комфорта и гармонии в отдельном человеческом существовании. С древних времен человека преследует страх изгойства, остракизма — что он будет изгнан из сообщества себе подобных или окажется в нем не востребован, не нужен. Счастье в данном случае равно антитезе этого страха, его преодолению. Обретение же любви, личного счастья есть как бы завершающий аккорд социальной устроенности человека (как сказки и прочие сентиментальные истории заканчиваются свадьбой; «конец — делу венец»). Обычная, бытовая любовь расходится с любовью романтической, трагической, которая часто строится на антагонизме окружающей реальности к чувствам и желаниям героев. И Платонов нацелен не на могучие страсти, а говорит о простом, что называется, человеческом счастье, женском ли, мужском. И снова в качестве необходимой предпосылки оно обнаруживает всеобщую налаженность бытия. «Ночью, укрывшись в одеяло с головой, Ольга начала думать о своей и всеобщей жизни; она представила Ленина, как живого, главного отца для себя и для всех бедных, хороших людей, — и от этой мысли она почувствовала ясное, верное счастье в своем сердце, как будто вся смутная земля стала освещенной и чистой перед нею, и жалкий страх ее утратить хлеб и жилище прошел, потому что разве Ленин может ее обидеть или оставить опять одну без надежды и без родства на свете?.. Ольга любила правильное устройство мира, чтобы все было в нем уместно и понятно, — так было ей лучше думать о нем и счастливее жить»¹⁵.

И вот тут Ольга как бы раздваивается — на себя саму и на мимолетную, проходную Лизу. Ольге хочется простого счастья, чтобы ее кто-то любил — но эта линия в итоге берет и уходит к Лизе. Недаром, кстати, Лиза спит, когда Ольга смотрит на нее и думает о ней и ее гипотетических мечтах. Это, кажется, тот же здоровый сон крепнущей отдельной силы, которым одно время спала и Москва, и грезы внутри этого сна все еще очень индивидуальные. Но еще это и старый мотив двойничества; двойники, альтер эго не могут совпасть в реальности, ведь один из них всегда как бы «спит», когда другой бодрствует. При этом двойники не просто антиподы. Двойник из них лишь один. Второй — всегда оригинал, который «отпочковывает» от себя двойника, как бы отбрасывает *тень* (термин из психологии К. Г. Юнга), передоверяя ей то, от чего сам отказывается. Ольга, в которой все больше перевешивает образ большого счастья, всеобщего, идеалистического, которая нуждается в «правильном устройстве мира» и счастье всех «бедных, хороших людей», чтобы самой счастливо жить, — передает Лизе образ счастья малого.

Схожая изначально с Москвой, Ольга как будто растет в обратном направлении. Москва сперва грезит о всеобщем — затем вдруг обрушивается в частное. Ольга, в завязи своей скромнее, вдруг, отбросив от себя как ступень Лизу, поднимается рывком до общего блага и ясного взгляда на всю перспективу пространства и времени. Она, как юноша Парменид, возносится на небеса, откуда видны все пути жизни (правда, вместо богини Истины у нее — Ленин), а Москва, напротив, как бы падает с них (недаром Платонов обыгрывает в начале романа ее прыжок с парашютом).

И еще — Москва не раздваивается. Она не может освободиться от противоречащих тенденций через двойника, «разгрузить» себя в нем. Значит ли это, что она обречена на выбор, должна сама, и бесповоротно, стать чем-то одним из двух, после чего другое будет не просто отчуждено, но утеряно? Москва начинает склоняться к тому, чтобы узнавать

¹⁵ Платонов А. Собрание сочинений. Т. 4. — Москва, 2011. — С. 497–498.

«единственное счастье теплого человека на всю жизнь»¹⁶, — делает ли ее это из «Ольги» — «Лизой»? Ведь после этого поворотного момента ее история, если очень грубо формулировать, становится хроникой попыток наладить личную жизнь.

Но Платонов, конечно, тоньше, и в любом случае далек от пошлости подобного упрощения. Дело не в том, что Москва как бы пасует, уклоняется от великого в пользу малого, останавливается в развитии (и жизни, и счастья). Просто если поворот к поискам счастья в любви глубок, искренен и всамделишен, то на этом пути открывается бесконечность не меньшая, чем в служении счастью всеобщему. Углубление в микрокосм снова выводит к макрокосму. Понимает это, например, еще один герой Платонова, красноармеец Никита из рассказа «Река Потудань». Он отрубил свое на великих фронтах сражений за абстрактное счастье всех людей. А потом вернулся домой, влюбился и осознал, что «жизнь велика и, быть может, ему непосильна, что она не вся сосредоточена в его бьющемся сердце — она еще интересней, сильнее и дороже в другом, недоступном ему человеке»¹⁷.

Разворот Москвы от большого счастья к малому, от абстрактного — к конкретному, неслучаен. Он не обязательно означает (или вовсе не означает) некоей специфической измены духу жизни и роста (довольно ницшеанскому местами), как бы попыткой соскочить с разгоняющегося поезда — хоть бы так и казалось иногда. Скорее, такой изменой было бы цепляться за пройденный ранний эгоизм, когда надвинулась всеобщность. Но от всеобщности не обязательно возвращаешься, повторно обрушиваешься в прежний эгоизм. Нет, здесь новый диалектический ход.

Нравоперемена¹⁸ Москвы и ее смысл

Жизнь, очевидно, по-прежнему ведет Москву и теперь указывает ей новое, прежде неочевидное свое измерение и настроение. Внезапно она начинает испытывать *печаль* и *сострадание*. «С печалью» идет она «мимо стен и по смутно освещенным коридорам, будто ее обидели или она была виновата в чужой небрежной и несчастной жизни»¹⁹.

Ответственность за другого, за его жизнь и счастье — новый этап усложняющихся на глазах поисков Москвы. Отложенное удовольствие здесь делается еще более отложенным. Теперь человек не разрешает себе своего счастья не до тех пор, пока не поучаствует в налаживании всеобщего, но пока не примет участия и соучастия в избавлении от одиночества или беды конкретного другого. И большая жизнь неожиданно поддерживает героев Платонова в этой новой интуиции — тем, что вдруг и решительно отступает от них в непостижимую даль, как бы говоря, что их путь теперь лежит в иное, не к ней. Она раньше уже перерастала свои прежние формы, начиная с их индивидуальных, которые сама же и взрастила. Но теперь она будто совершает невероятный скачок и выходит уже в стратосферу, за пределы видимого и достижимого. Напитав человека и доведя его до упора его собственного масштаба (размаха, как сказал бы В. Бибихин), она возвращается в свою собственную беспредельность, из которой вышла и которой всегда продолжала быть по ту сторону всех форм. Вот почему Никита из «Реки Потудань» думает/чувствует, что жизнь «велика и ему непосильна». Большая жизнь начинает отчуждаться от человека, нашедшего дорогу себе по ноге. Москва испытывает аналогичное отчуждение. Даже просто сидя на отдыхе с друзьями, она видит «за открытыми летними окнами простое поле, открытое в плоскость бесконечности, и в груди ее товарищей... была стрела действия и надежды, напряженная для безвозвратного

¹⁶ Платонов А. Собрание сочинений. Т. 4. — Москва, 2011. — С. 19.

¹⁷ Там же. С. 447.

¹⁸ Термин Р. Г. Апресяна.

¹⁹ Платонов А. Собрание сочинений. Т. 4. — Москва, 2011. — С. 26.

движения вдаль, в прямое жесткое пространство»²⁰. В груди ее товарищей — но более не в ее собственной груди. Огромный простор большой жизни уже не зовет ее, не кажется уютным и соразмерным — он жесткий, прямой, в чем-то пугающий. Это теперь не ее энтелехия, предназначенное и естественное место, цель. Здесь Платонов, чтобы показать, как меняется на данном повороте весь контекст бытия его героев, оперирует очень тонкими и значимыми аналогиями. Ольга из «На заре туманной юности» грезил добрым Лениным — и мгновенно земля, т. е. собственное пространство большой жизни, из смутной становилась для нее «освященной и чистой». Москва, чувствуя, как меняется ее предназначение, вместо открытого простора бредет по «смутно освещенным коридорам»; те же характеристики, но волшебного преобразования минуса в плюс не происходит. Большая жизнь закрывается, скрывается, уходит — становится как сущее Гераклита, которое, как мы помним, «любит таиться». И теперь уже не Ленин, а «улыбающийся, скромный Сталин» сторожит на площадях и улицах все открытые дороги свежего, неизвестного социалистического мира», и жизнь простирается «в даль, из которой не возвращаются»²¹.

Если смена этих символических фигур так же не случайна, то Платонов через нее, возможно, показывает, как менялось ощущение жизни у ранних идеалистов-коммунистов (а все его герои, в общем, вполне таковы). Если революция, символом которой выступает Ленин, открыла простор для их счастливого бескрайнего энтузиазма, то Сталин, будучи воплощением отката в тиранию и государственное омертвление прежде живых и неформальных порывов, логично закрывает горизонты, сторожит дороги — или отправляет в «даль, из которой не возвращаются». Характерна также его *скромность*, упомянутая здесь. Это, конечно, не желание польстить вождю и отметить одно из его положительных качеств. Эта скромность — зеркало долженствования. Она обращена как императив к тому, на кого смотрит вождь. Теперь человек должен быть скромным, умерить свои порывы. Дерзновение, энтузиазм, рост вровень с жизнью более не приветствуются. Большая жизнь теперь не его ума дело. Всяк сверчок знай свой шесток. Так же у Гомера боги осаживают героических смертных. Не то чтобы Сталин был богом, вряд ли Платонов хотел сказать именно это. Но он инструмент низвержения человека, указания ему на его место — реакция самого мира на его возросший масштаб. Москва, прыгая с парашютом, ощущает, что воздух вообще-то жесткий и больно бьет ее.

«Она летела с горячими красными щеками, и воздух грубо драл ее тело, как будто он был не ветер небесного пространства, а тяжелое мертвое вещество, — нельзя было представить, чтобы земля была еще тверже и беспощадней. «Вот какой ты, мир, на самом деле! — думала нечаянно Москва Честнова, исчезая сквозь сумрак тумана вниз. — Ты мягкий, только когда тебя не трогаешь!»²²

Люди-идеалисты, люди-энтузиасты, новые герои, тронули мир, посягнули на него в его собственном размахе. И мир ответил. Он открыл им, что он на самом деле мертв и инертен (здесь как бы возвращается тема «вселенной смерти», которую Платонов стремится преодолеть и заковать счастьем). И если одни его персонажи отшатываются от сопротивления мира назад, в теплую и родную жизнь, что и легче, и милосердней, то другие продолжают сопротивление и даже атаки на его косность. Счастье таких героев Платонова — в борьбе и открытиях, в стремлении обнаружить такие сокровенные ресурсы жизни, причем даже и в смерти, которые позволили бы навсегда победить несчастье и изменить судьбу человека.

²⁰ Платонов А. Собрание сочинений. Т. 4. — Москва, 2011. — С. 68.

²¹ Там же. С. 99. Кстати, любопытно, что в набросках этого фрагмента фигурирует Ленин. Но для окончательного варианта Платонов выбирает Сталина.

²² Там же. С. 13.

От печали до радости. Счастье и несчастье героев

Платонов весьма традиционен в изображении мужских персонажей. Они у него, в общем, типичны, если не архетипичны: мало думают о личном, как правило, запущены и неустроены в быту, отчуждены от собственной природно-физиологической составляющей. Они всегда старше женщин и вообще как бы безвозрастны, принципиально взрослые; Платонов не описывает их жизнь с детства — или, как в случае с мальчиком Семеном, описывает их только детьми, не следя за ними дальше. Они дольше двигались к своему счастью и лучше осознают его, но оно у них скорее сознательное, умственное, умное. Условно говоря, мужчины Платонова — более идеалисты, надстроечные существа, в то время как женщины — более энтузиасты, базисные существа. Женщина легче преодолевает порог между личным и общим, природным и социальным, но при этом чаще сворачивает на дорогу личного счастья. Мужчины, напротив, чаще жертвуют им, и при всей своей отчужденности и странности добиваются больших успехов на ниве служения общему благу (понимаемому часто в соответствии с духом времени).

Таков, например, Божко, геометр и городской землеустроитель из «Счастливой Москвы», один из будущих любовников главной героини. Он живет в аскетических условиях; в его маленькой комнате с одним окном «бедное суровое убранство». Но это «не от нищеты, а от мечтательности»²³. Божко «счастлив и покоен, как обычно, потому что жизнь его не проходит даром; тело его устало за день, но сердце бьется равномерно и мысль блестит ясно, как утром. Сегодня Божко... закончил тщательный план новой жилой улицы, рассчитав места зеленых насаждений, детских площадок и районного стадиона. Он предвкушал близкое будущее и работал с сердцебиением счастья»²⁴.

Божко в этом фрагменте дважды счастлив. Отчего же? Речь не об условиях, комфорте или наличии тех, кто тебя любит и своей любовью согревает, как родители в детстве или любимый человек в зрелом возрасте. Ничего такого в истории Божко мы не видим. Более того, к себе, своему прошлому, своему началу Божко «был равнодушен»²⁵. Сентиментальность, ностальгия, наследственность ему чужды. Божко счастлив оттого, что занят, как ему представляется, важным делом: он трудится на благо — и, соответственно, грядущее счастье — всех людей. В его распорядке нет ничего лишнего, отвлекающего. Его комната расположена высоко, на седьмом этаже, и это тоже не случайно, это нужно, чтобы «гул нового мира доносился на высоту такого жилища как симфоническое произведение — ложь низких и ошибочных звуков затухала не выше четвертого этажа»²⁶. Счастье Божко заключается в служении общему, глобальному, великому; поэтому ему необходима дистанция от всего частного, от *лжи низких и ошибочных звуков*, т. е. от шума обычной городской жизни, реальных вещей и людей.

Мечтатель-идеалист, хотя при этом и совершенный практик в своей профессии, Божко — строитель нового мира и ощущает себя собратом всем жителям земли, буквально «плачет от счастья за все смелое человечество»²⁷. У него «три портрета над столом — Ленин, Сталин и доктор Заменгоф, изобретатель международного языка эсперанто. Ниже портретов висели в четыре ряда мелкие фотографии безымянных людей, причем на фотографиях были не только белые лица, но и негры, китайцы и жители всех стран... Божко вынул пачку личных писем, получаемых им почти ежедневно в адрес службы, и сосредоточился в них своим размышлением за пустым столом. Ему писали из

²³ Платонов А. Собрание сочинений. Т. 4. — Москва, 2011. — С. 15.

²⁴ Там же.

²⁵ Там же.

²⁶ Там же.

²⁷ Там же.

Мельбурна, Капштадта, Гонконга, Шанхая, с небольших островов, притаившихся в водяной пустыне Тихого океана, из Мегариды — поселка у подножия греческого Олимпа, из Египта и многочисленных пунктов Европы»²⁸. Весь мир в этот момент открыт ему, как он открыт Ольге, когда та думает о Ленине. Они оба все еще на прямой, большой дороге счастья, блага, жизни: она — в самом начале, он — уже изрядно прошел по ней. И этот великий путь возносит их, распаивает простор глазу и уму, заряжает силой тело и руки — как и упомянутое нами вознесение Парменида до богини Истины. Когда один из корреспондентов Божко, негр Арратау, сообщает ему о смерти своей жены, Божко отвечает сочувствием, но приходит в отчаяние не советует: «надо сберечь себя для будущего, ибо на земле некому быть, кроме нас. А лучше всего — пусть Арратау немедленно приезжает в СССР, здесь он может жить среди товарищей, счастливей, чем в семействе»²⁹. В этом лаконичном отстранении личного, семейного и превозношении опять-таки будущего с его коллегиальной суетой (как в начале у Москвы) мы находим дополнительное подтверждение тому, что Божко — исповедник большого счастья (наподобие того, как буддизм делится на т. н. большую и малую «колесницы», сколь бы странной эта аналогия в данном случае не выглядела).

Отписав ответы на все письма, Божко засыпает на утренней заре «со сладостью полезного утомления»; во сне ему снится, что «он — ребенок, его мать жива, в мире стоит лето, безветрие и выросли великие рощи»³⁰. С этими строками мы как будто перемещаемся в царство ностальгии, ранее, по видимости, отброшенной упомянутым безразличием Божко к себе и к своему прошлому, случившемуся еще «при капитализме»³¹. Однако противоречие это кажущееся. Просто Божко движется во времени как бы в обратном направлении — счастливого ощущения прошлого он достигает, направляя свою взрослую жизнь к работе на всеобщее прекрасное будущее. Обычно, мы знаем, все преподносится иначе, сентиментально — что жизнь движется из прошлого в будущее, и светлые воспоминания поддерживают человека в его дальнейшем существовании, определяют выбор его целей. С Божко все наоборот — детство как образ (былого) счастья обретается им только через напряжение и успехи настоящего, устремленного к будущему. Он взрослый, живущий так, чтобы снова стать ребенком; только выполнив трудную задачу настоящего, он возвращает себе право на свет, льющийся из прошлого, на ощущения любви и радости, которые иные сочли бы безусловными и просто дающимися (или не дающимися) человеку от рождения, пассивно и независимо от него. Наградой за его самоотверженный труд становится «сонная, счастливая свежесть», которая «как здоровье, вечер и детство» входит «в усталого этого человека»³².

Счастье не природное, естественное, приходящее или наступающее само по себе (как у Семена и юной Москвы), но более сложно устроенное — умственное, духовное — связано с позицией и жизненной философией человека, с направленностью его воли к общему благу, с деятельностью на пользу всего человечества (как он это, конечно, себе представляет). Божко ориентирован не на счастье-данность (да ему оно, в силу возраста, склонности и опыта, может быть уже просто недоступно), а на счастье-результат, счастье-эффект от правильных дел и правильного настроя души. Здесь вспоминается, само собой, Аристотель с его классическим определением: «Счастье есть цель всякой жизни». Счастье по-гречески *eudaimonia*, т. е. хороший даймон, доброе божество. Это можно понимать как сопутствие человеку в жизни некоего благоволящего начала, осеменяющего все его

²⁸ Платонов А. Собрание сочинений. Т. 4. — Москва, 2011. — С. 15.

²⁹ Там же. С. 16.

³⁰ Там же.

³¹ Там же. С. 15.

³² Там же. С. 18.

начинания своими лучами. Важно, однако, в этой формуле понятие *цели*. Цель — это то, к чему стремятся, чего достигают определенным усилием, сочтя за нужное, достойное, правильное. Счастье как цель — это не естественное состояние: естественное состояние либо наличествует само по себе, и его не требуется достигать — в лучшем случае, надо заботиться о его сбережении, сохранении; если же оно утрачено, никакими собственными потугами его, очевидно, не вернуть — оно досталось тебе как дар, от тебя тут ничего не зависело, и возвращение его от тебя точно так же зависеть не может. Соответственно, счастье как цель означает сознательное и добровольное подчинение жизни благой цели, руководству хорошего божества. Опять-таки, это можно понимать и в частном смысле — как обнаружение принципа, позволяющего упорядочить именно твою жизнь, и ничего больше. Однако общий смысл здесь тоже прочитывается: если направить свою жизнь ко всеобщему благу, от этого и твоя собственная жизнь наполнится им. Так, очевидно, живет Божко. Это и есть формула мужского идеализма, обратная формуле женского энтузиазма, который строится на движении от собственного счастья и силы к устройению счастья других. Если переводить диалектику счастья Платонова на язык логики, то получается, что женщины скорее индуктивны, а мужчины — дедуктивны. Но в целом это ответ на то, может ли счастье (как идея или понятие) быть стержнем некоей индивидуальной жизненной философии.

Но вот Божко встречает Москву, причем Москву уже не в расцвете ее раннего энтузиазма, а позже, как говорится, в процессе «поворота». И встреча эта чрезвычайно символична (как у Булгакова, добавим, отмечена некими особыми, характерными знаками встреча Мастера и Маргариты). Божко сталкивается с Москвой «однажды на осеннем бульваре», в момент «своей стихийной печали»³³. Тут все упомянутые автором обстоятельства значимы. Осень — время увядания природы, предвестия холодов, когда жизнь снова оукливается, впадает в спячку, сберегая себя под оцепеневшим своим покровом. Цикличность, круговорот, замкнутый круг побеждают разомкнутость неограниченного становления, утверждают над ним свою власть, превосходящую энергию его спонтанных выбросов и порывов. Так Танатос у Фрейда возвращает вселенную, взбаламученную всплеском Эроса, в гомеостатическое равновесие; но уже и у Парменида урок богини Истины завершается демонстрацией «хорошо закругленного» неколебимого Единого, ни в чем не терпящего ущерба; и Гераклит подчиняет великий огонь в сердце мира закону мерности, заставляя его вспыхивать, угасать и снова вспыхивать.

Прежде возвращение жизни в состояние равновесия заставляло ее расцветать, радоваться, устремляться в рост, сулить счастье. Но в момент «осеннего равноденствия» сил Божко вдруг охватывает «стихийная печаль». Понятно, что он не вечно радостный идиот (о таких персонажах у Платонова речь пойдет позже), не запрограммированный на победу коммунизма «робот Вертер». Но здесь нечто большее, здесь его гложет — а может, заочно, пророчески передается от едва встреченной Москвы — ощущение грядущего затмения жизни, ухода ее опять в Гераклитово «сокрытие», как знак того, что он сам скоро свернет со своей большой открытой дороги или та вдруг необъяснимо ускользнет из-под его ног.

Нечто сходное происходит с еще одним героем «Счастливой Москвы», врачом Самбикиным. Как и Москва, в высшей точке ее энтузиастического порыва к миру и людям, Самбикин думает «всегда и непрерывно», его душа сейчас же «заболевает», если он останавливается мыслить; он работает «над воображением мира в голове, ради его преобразования»³⁴. Но если Москва — энтузиаст, то Самбикин, как и Божко, идеалист; его счастье рождается не из стихийного переживания природы, мира, возраста, собственной

³³ Платонов А. Собрание сочинений. Т. 4. — Москва, 2011. — С. 17.

³⁴ Там же. С. 35.

силы, как это происходит у Москвы. В отличие от нее, он «с удивлением»³⁵ оглядывает собственное тело, если приходится, так-то практически и не замечая его. Как у Божко, план действий на благо всех людей ему нужен, чтобы отдача от выполнения этого плана пришла в его душу и стала его счастьем. Совершая полезное открытие, он «счастлив» от него³⁶.

Но есть и то, что отличает его как от Москвы, так и от Божко. Самбикин не слеп к печали, горю, утрате — темным сторонам жизни. В его мире они не случайные гости, не стихии, способные вдруг невесть откуда налететь и захлестнуть, или даже заставить забиться в угол. Либо же они сделали это с ним давным-давно. Так или иначе, он не только не скрывается от них, но научился жить с ними и использовать их как собственный мотив для поисков счастья. Мощным двигателем его действий является сострадание, а не только высокий взлет мысли-воображения, подпитываемый самоотверженностью молодости и характера. Самбикин чувствует «свое тоскующее, опустевшее сердце»; ему надо «действовать, чтобы приобрести задачу для размышления и утомить неясный и алчущий, совестливый вопль в душе». Он понимает, «насколько человек еще самодельное, немощно устроенное существо — не более как смутный зародыш и проект чего-то более действительного, и сколько надо еще работать, чтобы развернуть из этого зародыша летящий, высший образ, погребенный в нашей мечте...»³⁷. Потеряв прооперированного им ребенка, «Самбикин в долгом одиночестве гладил голое тело умершего... и горе нагревалось в нем, пустынное, не разрешимое никем»³⁸. Позже он помогает матери мальчика с похоронами, и тогда «неизвестная, странная жизнь» открывается перед ним, «жизнь горя и сердца, воспоминаний, нужды в утешении и в привязанности. Эта жизнь... настолько же велика, как и жизнь ума и усердной работы, но более безмолвна»³⁹.

Сердце Самбикина охвачено не *томлением*, от избытка юных сил, но *тоской*. И если томление (родственное томности, истоме) можно истолковать как положительное ощущение, хотя в основе его и лежит нехватка, то с тоской сложнее. Экзистенциалы Самбикина негативные, и все же не темные. Его мир — не плерома счастья, как у молодой Москвы, а кеноста, кеносис, умаление божественного в материальном — его стихия, его «опустевшее сердце». Он погружен в болезни и смерть тел, а вместе с ними и сознания. Однако у него все эти переживания переплавляются в горе и сострадание, в *совесть*. Жизнь подступает к нему не светлым океаном богатства, избытка, счастья, но темным океаном человеческих страданий и несовершенства. Именно поэтому он способен уловить ее антитетический образ, «летящий и высший», расслышать призыв к нему. Ни у Москвы, ни у Божко нет столь отчетливого, почти гностического разделения в сознании на светлую и темную стороны жизни, с продуктивным напряжением между ними. Порой их добрые порывы производят впечатление «борьбы хорошего с лучшим», простого преобразования и так уже позитивной, изобильной потенциальности в плодоносную, цветущую актуальность. Самбикин, скорее, движется к желаемому от обратного. Он не демонизирует это обратное, но и не отворачивается от тоски и печали при его виде, позволяет им завладеть собой. Он строит свой мост над бездной. Поэтому он отчаянно ищет ключ к бессмертию, способ одолеть смерть.

Сарториус, четвертый из центральных персонажей «Счастливой Москвы», как и Самбикин, тоже «был исследователем и не берег себя для тайного счастья»⁴⁰. Точно так

³⁵ Платонов А. Собрание сочинений. Т. 4. — Москва, 2011. — С. 36.

³⁶ Там же. С. 57.

³⁷ Там же. С. 36.

³⁸ Там же. С. 78.

³⁹ Там же. С. 80.

⁴⁰ Там же. С. 94.

же он не удерживается в поверхностности счастья, счастливого состояния, и открывает для себя печальную сторону бытия. «Он чувствовал в себе смутное волнение, не объяснимое его счастливой молодостью, и тайна человеческой жизни была для него неясна; он чувствовал себя так, как будто до него люди не жили и ему предстоит перемучиться всеми мученьями, испытать все сначала, чтобы найти для каждого тела человека еще не существующую, великую жизнь»⁴¹. Бродя по городу, Сарториус часто замечает «счастливые, печальные или загадочные лица» и выбирает, «кем ему стать»⁴².

Интересно наблюдать, насколько здесь ускоряется мысль Платонова. Вместо плавного, последовательного движения жизни Москвы, систематического развития в ней темы счастья нас начинает бросать: сначала к несчастью печали — которое жизнь Москвы резко изменило и согнуло, Божко лишь затронуло, но тоже в «предчувствии» Москвы, а Самбикин в нем и вовсе живет — а потом вообще к третьему, возможно, превосходящему первые два экзистенциалу: загадочности. Сарториус, замечающий в своих блужданиях по городу не только счастливые и печальные, но и загадочные лица, становится рупором именно загадочности, к которой идет от счастья и через печаль. И в этом смысле кульминацией всей «Счастливой Москвы» становится встреча и разговор Сарториуса и Самбикина, разговор о человеческом устройстве, предназначении и, в частности, роли счастья. Именно через этот разговор Самбикин приходит к кристаллизации собственного символа веры — идеи неустранимой, загадочной двойственности в самом основании человеческой природы.

«Тайна жизни в двойственном сознании человека. Мы думаем всегда сразу две мысли и одну не можем! У нас два органа на один предмет! Они оба думают навстречу друг другу, хотя и на одну тему... То, что человек способен думать вдвойне по каждому вопросу, сделало его лучшим животным на земле... Надо было привыкнуть координировать, сочетать в один импульс две мысли — одна из них встает из-под самой земли, из недр костей, другая спускается с высоты черепа. Надо, чтоб они встречались всегда в одно мгновение и попадали волна в волну, в резонанс одна другой... А у животных, у них тоже против каждого впечатления встают две мысли, но они идут вразброд и не складываются в один удар. Вот в чем тайна эволюции человека, вот почему он обогнал всех животных! Он взял почти пустяком: два чувства, два темных течения он сумел приучить встречаться и меряться силами... Встречаясь, они превращаются в человеческую мысль. Ясно, что это ничего неощутимо... У животных тоже могут быть такие состояния, но редко и случайно. А человека воспитал случай, он стал двойственным существом... И вот иногда, в болезни, в несчастье, в любви, в ужасном сновидении, вообще — вдалеке от нормы, мы ясно чувствуем, что нас двое: то есть я один, но во мне есть еще кто-то. Этот кто-то, таинственный «он», часто бормочет, иногда плачет, хочет уйти из тебя куда-то далеко, ему скучно, ему страшно... Мы видим — нас двое, и мы надоели друг другу. Мы чувствуем легкость, свободу, бессмысленный рай животного, когда сознание наше было не двойным, а одиноким. От животных нас отделяет один миг, когда мы теряем двойственность своего сознания, и мы очень часто живем в архейскую эпоху, не понимая такого значения... Но вновь сцепляются наши два сознания, мы опять становимся людьми в объятиях нашей «двусмысленной» мысли, а природа, устроенная по принципу бедного одиночества, скрежещет и свертывается от действия страшных двойных устройств, которых она не рождала, которые произошли в себе самих...»⁴³

Если Москва, Ольга, Божко стремятся к норме, к упорядоченности и в ней обретают счастье, то Самбикин начинает искать за пределами нормы, обращается к хаосу.

⁴¹ Платонов А. Собрание сочинений. Т. 4. — Москва, 2011. — С. 76.

⁴² Там же. С. 99.

⁴³ Там же. С. 58.

Он проходит полный путь. Москва и Божко идут от подобного к подобному: от малого авансового счастья — к большому, от личного — к общему (и обратно), от мечты — к труду. Самбикин идет к счастью от обратного: от несчастья. Даже любовь зачисляется им в экстремумы, наряду с болезнями и кошмарами. Но объединившись с Сарториусом, он открывает область загадочного, лежащую за пределами диалектики антиподов с их игрой, способную поглотить, свести в себя жизнь целиком. Самбикин не только не уклоняется от аномального и хаотического (в то числе в интерпретации их) — с какого-то момента он перестает нуждаться и в отталкивании от них как от противоположности желаемому.

А Сарториус вообще испытывает какую-то невероятную свободу выбора. Все те вещи, которые других сразу взяли в плен и стали их правящими обстоятельствами, ему предстают как возможные пути (как тут не вспомнить опять юношу Парменида и тройственность, опять же, мировых путей, которые показывает ему богиня Истина с великой высоты!). Счастливые, печальные, загадочные лица, созерцаемые странником Сарториусом, — это двери, врата миров. Мы сами выбираем, решаем, в каком мире жить. Каждый получает и по вере своей, и по воле своей: эдем природного, растительного-строительного счастья; или суровый героический мир борьбы за него с тьмой, страданиями и смертью; или безумные глубины хаоса, где, как мы помним, по Гесиоду, залегают все концы и начала; или божественный план бесконечных возможностей, странничанья и свободы. Выбирать из них можно, и нужно. Но свобода потому и свобода, что включает в список вещей на выбор и себя тоже. Она сохраняется в загадочности. Загадочность — зеркало свободы.

Напоследок отметим еще одно важное обстоятельство. Трио (и снова троица...) центральных мужских персонажей «Счастливой Москвы» — Божко, Самбикин, Сарториус — это еще и «рыцари» главной героини, как бы ее паладины (счастливого, печального и загадочного Образа соответственно). С ней как с реальной женщиной они связаны вплоть до личных отношений, и в этом выступают тоже как реальные личности, эмпирические конкретные существа. Но их идейная составляющая (возвращаясь к «достоевскости» Платонова) составляет из них некий в чем-то даже метафизический смысловой узор, и Москва в центре этой мандалы — уже не человек, а сама жизнь, стихия жизни. Ее, женственную по сути, как хору-материю-праматерь у Платона, обступают божественные хранители, воплощения силы, воли, ума и эмоций — ангелы, архонты, творцы определенности, направлений и границ. Строитель-демиург Божко — антично-ветхозаветная фигура: планировщик, чертящий круговую черту по лицу бездны, грезящий о прорастании в мире «великих роц», стремящийся воздвигнуть для жизни эдемский город-сад. Врач Самбикин — рыцарь печального образа, аскет и борец со смертью, чающий воскресения — несколько христологический персонаж, новозаветный. Исследователь Сарториус, блуждающая тень, мечтающий прожить все жизни всех людей сразу, — в этой троице как бы парафраз духа, психопомпа, хранителя свободы. Станным образом, примерно в это же время в Америке выходит книга, казалось бы, совершенно непохожая на «Счастливую Москву» — детская сказка «Волшебник из страны Оз», в которой главная героиня, девочка, тоже окружена троицей весьма символических спутников, находящихся в антитетическом квесте. В каком-то смысле, герои «Волшебника...» тоже ищут счастья, им тоже предстоит долгий путь, и рассказ о них — тоже подобие притчи.

Борьба со злом и плохое счастье: в направлении джан

Каким бы счастье ни было, как бы ни расходились пути к нему, оно все же прекрасно, и все к нему так или иначе стремятся. Оно кажется абсолютно сплетающим в себе мотивы индивидуальные и всеобщие. Мне хорошо, когда всем хорошо, когда вообще все хорошо, все в порядке. Но бывает и иначе; бывает дурное, жестокое счастье, построенное на несчастье других или даже на сознательной воле к тому, чтобы лишить их счастья, причинить страдания. Так Платонов задается вопросом о природе *зла* (на этот раз — настоящего, сознательного, а не конвенционального) в мире, вопросом о том, каково его место в символической картине жизни. Ответ его парадоксален: зло — вовсе не порождение темной стороны жизни в виде несчастий и горя. Личные несчастья Москвы, страдания, с которыми борется Самбикин, не делают их злыми. Все ровно наоборот.

В рассказе «По небу полуночи» главный герой, летчик Эрих Зуммер, формально — часть фашистской военной машины, винтик ее. Когда он решает вдруг выломаться из ее чудовищной целостности, его устремленность к этому приводит к противостоянию его с напарником, штурманом Фридрихом Кенигом. Кениг, в отличие от Зуммера — истовый, лишенный сомнений приверженец фашистской доктрины. Она для него — источник его счастья. «В чистых, младенческих, больших глазах Кенига постоянно горел энергичный свет искренней убежденности в истине фашизма, свет веры, и он жил в беспричинной, но четко ощущаемой им яростной радости своего существования, непрерывно готовый к бою и восторгу. Зуммер, наблюдая Кенига, чувствовал иногда содрогание — оттого, что идиотизм его веры, чувственная, счастливая преданность рабству были в нем словно прирожденными или естественными. Он думал со страхом и грустью, что во многих других людях существует такой же инстинктивный, радостный идиотизм, как у Фридриха Кенига. Зуммер вспомнил, что при прощании с генералом специального авиационного соединения, напутствовавшего летчиков, у Кенига стояли слезы в глазах, слезы радостной преданности и полной готовности обязательно умереть за этого генерала и за кого попало из начальства, которые все вместе составляли для штурмана отчизну»⁴⁴.

Читая о Кениге, мы сразу видим, что эмоции, пронизывающие его существо и направляющие его существование, не описываются Платоновым в мрачных, рессентиментных терминах вроде злобы, ненависти, жестокости, как это часто имеет место, когда речь заходит о таком феномене, как фашизм. Напротив, сплошь радость, восторг и, в том числе, счастье. При этом они фактически природные, врожденные, инстинктивные, а не сгенерированные некоей сознательностью, не выученные. Т. е. они соответствуют первому типу счастья в классификации Платонова. Трудно сказать, выступает ли здесь Платонов только как критик и ненавистник фашизма или, изображая так фашистский экзистенциал, он подспудно имеет в виду вообще весь примитивный, стихийный идеализм, включая и те его разновидности, которые он сам раньше выводил в самоотверженных строителях и насельниках коммунизма. В любом случае, разрыв с собой здесь несомненен, а упоминание счастья позволяет говорить о преемственности тем. Зуммер «поглядел вверх... Вечные звезды сияли на небе, подобно недостижимому утешению. Но если это утешение для нас недоступно, тем более, следовательно, земля под небом должна быть для человека прекрасной и согретой нашим дыханием, потому что люди на ней обречены жить безвыходно.

— Я его убью, — решил Зуммер участь Кенига. — Он и они хотят нас искалечить, унижить до своего счастливого идиотизма, чтобы мы больше не понимали звезд и не чувствовали друг друга, а это все равно что нас убить»⁴⁵.

⁴⁴ Платонов А. Собрание сочинений. Т. 4. — Москва, 2011. — С. 548–549.

⁴⁵ Там же. С. 550.

Получается, счастье может быть недалеким, неприятным, идиотическим — счастьем захватчиков, убийц и разрушителей, которые вовсе не чужды «позитивно окрашенным» эмоциям, вовсе не проводят свои дни в угрюмом мраке и отвращении. Ту же идею мы находим в повести «Джан», в центре сюжета которой люди, целый маленький народ, потерявший волю к жизни: «Но ты слушай меня, — Суфьян погладил старый московский башмак Чагатаева, — твой народ боится жить, он отвык и не верит. Он притворяется мертвым, иначе счастливые и сильные придут его мучить опять. Он оставил себе самое малое, не нужное никому, чтобы никто не стал алчным, когда увидит его»⁴⁶. Счастливые и сильные в контексте «Джан» — это опять же маркировка угрожающего, агрессивного состояния человечества. Счастливые и сильные подавляют, отбирают у других, не столь цепких и удачливых, как они, смотрят на все вокруг хищным взглядом.

Спасаясь от этого взгляда и от такого к себе интереса, описываемый Платоновым народ джан и избрал свою странную стратегию — не имея возможности противостоять нападениям, превратиться в нечто пустое, по определению не способное привлечь никаких охотников извне. Эта стратегия фактически означала смерть при жизни, полный отказ от всего, развоплощение вплоть до ничто. «Прошло уже около десяти лет, как народ джан пришел сюда и рассеялся среди влажных растений. Некоторые люди народа расселились отдельно, по одному человеку, чтобы не мучиться за другого, когда нечего есть, и чтобы не надо было плакать, когда умирают близкие. Но изредка люди жили семьями; в таком случае они не имели ничего, кроме любви друг к другу, потому что у них не было ни хорошей пищи, ни надежды на будущее, ни простого счастья, развлекающего людей»⁴⁷. Счастье здесь перечисляется среди вещей, от которых джан отказались или вовсе никогда не имели — это некая «простая вещь», предназначенная к «развлечению» людей, показатель, знак, что с их жизнью все в порядке.

В противоположность джан главный герой повести, Назар Чагатаев, пытающийся спасти джан от вымирания, как и подобает активному человеку, коммунисту, идеалисту, верит в счастье. «Чагатаев посадил Айдым к себе на руки и перебрал ее волосы на голове. Она вскоре уснула у него на руках, доверчивая и жалкая, рожденная лишь для счастья и заботы. Наступил вечер. Идти дальше было темно. Чагатаев нарвал травы, сделал из нее теплую постель для защиты от ночного холода, переложил девочку в эту травяную мякоть и сам лег рядом, укрывая и согревая небольшого человека. Жизнь всегда возможна, и счастье доступно немедленно»⁴⁸.

Чагатаев не мыслит доктринально; скорее, это писатель Платонов мыслит сквозь него основными максимами русской литературы, от «человек рожден для счастья» Чехова до «будет жизнь, будет и счастье» Толстого, при том, что подано это без иронии и оговорок, с напором не колеблющегося переустроителя мира. Но есть в этом и нечто большее: Чагатаев, как положено идеалисту, верит, нет, скорее даже ощущает, переживает непосредственно, что счастье — это экзистенциал, данность или долженствование всего мира, не только человека и его субъективности. В самом начале повести, перед тем, как отправиться в свою командировку, он «втайне прощался со всеми здешними, мертвыми предметами. Когда-нибудь они тоже станут живыми — сами по себе или посредством человека. Он обошел все ненужные дворовые вещи и потрогал их рукою; он хотел почему-то, чтобы предметы запомнили его и полюбили. Он знал, что после долгой разлуки странно и грустно видеть знакомое место: ты с ним еще связан сердцем, а неподвижные предметы тебя уже забыли и не узнают, точно они прожили без тебя деятельную, счастливую жизнь»⁴⁹. Счастье охватывает (ну, или потенциально способно

⁴⁶ Платонов А. Собрание сочинений. Т. 4. — Москва, 2011. — С. 200.

⁴⁷ Там же. С. 142.

⁴⁸ Там же. С. 144.

⁴⁹ Там же. С. 113–114.

охватить) весь мир, в том числе и предметы, и мертвую материю. То же ли это самое счастье, что счастье хищных людей? Очевидно, нет, однако и то, и другое — счастье, слово одно. Счастье соразмерно природе и, возможно, как и сама природа, морально безразлично, амбивалентно. Ведь и в природе читаются знаки грандиозной воли: «Чагатаев лежал без сна. Большая черная ночь заполнила небо и землю — от подножья травы до конца мира. Ушло одно лишь солнце, но зато открылись все звезды и стал виден вскопанный, беспокойный Млечный Путь, как будто по нему недавно совершился чей-то безвозвратный поход»⁵⁰. Что это за поход, чей он — завоевателей, которых страшатся джан, освободителей, которыми грезит и к которым мечтает примкнуть в исторической перспективе сам Чагатаев? Платонов не дает на это ответа, равно как и отказывает в моральной определенности счастью.

Несомненная параллель между «Джан» и «По небу полуночи» — присутствующий и там, и там образ звездного неба. После Канта, мы помним, стало общим местом увязывать этот образ с идеей морального закона. Не в том, конечно, смысле, что небо и есть источник морального закона. Но подобно тому, как звездное небо — символ абсолютной красоты и величия природы, мира внешнего, так нравственный закон играет аналогичную роль для мира внутреннего, для души человеческой. Это две бесконечности, макрокосм и микрокосм, несводимые друг к другу и оттого истинно близкие — как субстанция протяженная и мыслящая у Декарта, предшественника Канта. Еще эти вещи поражают, завораживают сочетанием в себе ясности, простоты даже какой-то — и загадочности. Кант, думая что о той, что о другой, испытывает бесконечное изумление (родственное благоговению), а удивление, по Аристотелю — начало философии. И здесь интересно, что две бесконечности, встретившись в душе человека, порождают третью — вот эту эмоцию замороженности: удивление Аристотеля, изумление Канта, «страх и трепет» Кьеркегора. Вот и у платоновского Сарториуса рядом с печалью и радостью вырастает загадочность — великий третий экзистенциал (а эта штука, отметим с некой иронией, посильнее Третьего интернационала будет — из-за чего, возможно, Сталин и прозвал Платонова «талантливый писатель, но сволочь»). А врач Самбикин вдруг сознает, что ключ к уникальности человека — столкновение в нем двух противоположных мыслей, высекающее новый и необыкновенный огонь.

Гераклит утверждал, что все человеческие законы основываются на одном-единственном божественном — логосе, которым дышит все сущее. Другой досократик, Парменид, в своей философской поэме «О начале» возносится юношей на небо, чтобы обозреть все сущее и его пути и предстать перед богиней Истиной. Аристотель разделит эти сферы, впервые отчетливо отграничив надлунный мир звездного неба и божественных постоянств — от подлунного мира вечных пертурбаций и треволнений; человеческая нравственность, согласно ему, обитает в этом низшем мире и не всегда может полагаться на абсолют — ей приходится учитывать, что все вокруг изменчиво и нечетко. Платоновские Зуммер и Чагатаев в этом свете вполне философичны (что в принципе свойственно героям Платонова). Они сверяют свою нравственность по звездному небу, представая перед ним, а то и возносясь до него, как летчик Зуммер. А своим настроением (в этике Аристотеля, кстати, строй, «лад» души — чрезвычайно значительное понятие⁵¹) и затем поступками они восстанавливают распавшуюся связь (долженствование под стать Гамлетовому выправлению «вывихнутого века») между землей и небом, индивидуальным и всеобщим, этикой и онтологией — вновь соединяют разошедшиеся пути бытия. Перед лицом звездного неба Чагатаев укутывает Айдым, а Зуммер порывает с фашизмом. И тот, и другой — рыцари, пилигримы, паладины. Чагатаев ищет защитить и спасти целый

⁵⁰ Платонов А. Собрание сочинений. Т. 4. — Москва, 2011. — С. 144.

⁵¹ См. Аристотель. Никомахова этика. Кн. 6.

народ, Зуммер — всю землю, всех людей. И оба они отрицают счастье злых, ищут какое-то иное счастье: в пребывании рядом с тем, кто в этом нуждается, в заботе и самоотверженности. Может даже, это уже и не счастье, а те самые *покой и воля*, о которых писал Пушкин, и которые есть, когда счастья нет (а его вообще нет, если верить этим его строкам). Вот и Пастернак, как считает критик Дм. Быков, в своем знаменитом «Ночном полете», проводит идею, что мир держится мыслью о нем таких вот одиночек, странников, потерявшихся между небом и землей и смотрящих на него из невообразимой дали, откуда только и можно объять его взглядом, постичь его судьбу и понять, что делать в нем тебе самому. Они его ангелы-хранители (не поэтому ли рассказ Платонова назван строкой из лермонтовского «Ангела»). А Чагатаев еще и ангел-хранитель одной конкретной маленькой девочки — фундаментальный платоновский мотив, как мы уже убедились. Айдым и есть, очевидно, душа и жизнь джан. Чагатаев чувствует себя обязанным приложить все силы, чтобы сохранить ее, пробудить от горестного оцепенения, дать снова быть счастливой. Ведь и «внутри бедных существ есть чувство их другого, счастливого предназначения»⁵². А оттого и предназначение ее спутника исполнится и возвысится до божественного.

Заключение

Если расширять список экзистенциалов у Платонова, из них можно, а может быть, даже и нужно выбирать, или же этот выбор делается за тебя и решает твой тип личности. Печаль, упоминаемая Платоновым, вовсе не некий отрицательный антипод вечно, при любых обстоятельствах положительного счастья: мы убедились, что со счастьем все непросто. Печаль, скорбь, горе ведут в конечном итоге к развитию сопереживания и любви к людям, а оттуда и к чувству всечеловечности. Это чувство вырастает как из охваченности счастьем, так и из глубокого сострадания. Счастливая Москва, например, потому и счастливая, что именно из своего счастья добывает расположение к людям, к миру. Но вот и ее сердце оказывается тронуту печалью и состраданием, как мы уже видели. И от них она начинает стремиться к новому образу счастья — к любви, к самоотдаче во имя конкретного другого. А старое счастье вдруг отваливается, отчуждается от нее. «Газеты писали о счастливом, молодом мужестве»⁵³. Это становится уже из газет, из какого-то внешнего мира. Раньше он с восторгом опознавался сознанием как зеркало его же силы и интенций, как у Гегеля дух опознает во внешнем мире тоже самого себя. Но мы прочитали у Платонова эту потайную мысль о некоем трагическом постепенном расхождении героического энтузиаста с миром.

Врач Самбикин обретает истину, как он сам признается, вдалеке от нормы, в болезнях и несчастье. Здесь Платонов не просто проповедует диалектику счастья/несчастья как должное состояние сознания, соответствующее сложности жизни. Само счастье, как мы убедились, у него двойственно, двусмысленно. Соответственно, двусмысленно и несчастье — оно не только собственно «несчастье», но и путь к осознанию сути бытия, и пробуждение сострадания, и новое счастье, добываемое из него: счастье любви, милосердия, преданности. Сопереживание соединяет с людьми, с конкретным другим человеком не хуже, и точно интереснее (не в пустом смысле любопытства), чем счастье. От романтического упоения чувством сообщения, принадлежности к всечеловечеству через взлет счастья, силы, молодости, мечтательности Платонов приходит, нащупывает и другой путь, к другому счастью — через сострадание и умаление, отказ от горделивой высоты и огромности собственных замыслов.

⁵² Платонов А. Собрание сочинений. Т. 4. — Москва, 2011. — С. 134.

⁵³ Там же. С. 21.

Так и мальчик Семен в его одноименном рассказе, из любви и сострадания, соглашается заменить своей семье их умершую мать.

«Отец глядел на всех своих детей, на умершую жену, которая грелась около него всю ночь, но все равно не могла согреться и теперь окоченела, — и не знал, что ему подумать, чтобы стало легче на душе.

— Им мать нужна. Ведь ты только, Семен, один старший, а они еще маленькие все...

Семен поглядел вверх, на отца, и сказал ему:

— Давай я им буду матерью, больше некому.

Отец ничего не сказал. Тогда Семен взял с табуретки материню платье, капот, и надел его на себя через голову. Умершая мать была худая, поэтому платье на Семена пришлось бы впору, если б оно не было длинным.

— Захарка, ступай на двор, покатай в тележке Петьку с Нюшкой, чтоб они есть не просили, — сказал Семен в материнском капоте. — Я вас тогда позову. У нас дела много с отцом.

— Тебя ребята на улице девчонкой дразнить будут! — засмеялся Захар. — Ты дурочка теперь, а не мальчик!

— Пускай дразнят, — ответил Семен Захарке, — им надоест дразнить, а я девочкой все равно привыкну быть... Ступай, не мешайся тут, бери детей в тележку, а то вот веником получишь!

Отец стоял в стороне и понемногу, бесшумно плакал. Семен, прибрав комнату, подошел к отцу:

— Папа, давай сначала мать откроем, ее надо обмывать... А потом ты плакать будешь, и я буду, я тоже хочу — мы вместе!»⁵⁴

Исследователь и странник Сарториус, пускай более теоретически, наукообразно, приходит к тому же выводу. Он боится, что «ему изо всего мира досталась лишь одна теплая капля, хранимая в груди. Сердце его стало как темное, но он утешил его понятием, пришедшим ему в ум, что нужно исследовать весь объем текущей жизни посредством превращения себя в прочих людей. Раз появился жить, нельзя упустить этой возможности, необходимо вникнуть во все посторонние души — иначе ведь некуда деться; с самим собою жить нечем, и кто так живет, тот погибает задолго до гроба /можно только вытаращить глаза и обомлеть от идиотизма/»⁵⁵. Того самого идиотизма, добавим, против которого восстал летчик Эрих Зуммер — счастливого идиотизма патриотов и фанатиков, разрушителей и убийц. Идти следует совсем в другом направлении. Не обязательно в направлении джан; но ведь и у джан, в конце концов, не смогли отобрать одну-единственную вещь: «Их сердце ослабело настолько, что могло содержать в себе лишь любовь и привязанность к мужу или жене — самое беспомощное, бедное и вечное чувство»⁵⁶.

⁵⁴ Платонов А. Собрание сочинений. Т. 4. — Москва, 2011. — С. 465–466.

⁵⁵ Там же. С. 94–95.

⁵⁶ Там же. С. 142.

Литература

Платонов А. Джан / Платонов А. Собр. соч. Т. 4. Счастливая Москва. — М.: Время, 2011. — 624 с.

Платонов А. На заре туманной юности / Платонов А. Собр. соч. Т. 4. Счастливая Москва. — М.: Время, 2011. — 624 с.

Платонов А. По небу полуночи / Платонов А. Собр. соч. Т. 4. Счастливая Москва. — М.: Время, 2011. — 624 с.

Платонов А. Река Потудань / Платонов А. Собр. соч. Т. 4. Счастливая Москва. — М.: Время, 2011. — 624 с.

Платонов А. Семен / Платонов А. Собр. соч. Т. 4. Счастливая Москва. — М.: Время, 2011. — 624 с.

Платонов А. Счастливая Москва / Платонов А. Собр. соч. Т. 4. Счастливая Москва. — М.: Время, 2011. — 624 с.

References

Platonov, A. *Djan* [Soul, or Dzhan] / Platonov, A. *Collected Works. Vol. 4.* Moscow, Vremya publ., 2011. 624 p. (In Russian)

Platonov, A. *Na zare tumannoi yunosti* [On a Misty Verge of Youth] / Platonov, A. *Collected Works. Vol. 4.* Moscow, Vremya publ., 2011. 624 p. (In Russian)

Platonov, A. *Po nebu polunochi* [Through Midnight Skies] / Platonov, A. *Collected Works. Vol. 4.* Moscow, Vremya publ., 2011. 624 p. (In Russian)

Platonov, A. *Reka Potudan'* [The River Potudan] / Platonov, A. *Collected Works. Vol. 4.* Moscow, Vremya publ., 2011. 624 p. (In Russian)

Platonov, A. *Semyon* [Simon] / Platonov, A. *Collected Works. Vol. 4.* Moscow, Vremya publ., 2011. 624 p. (In Russian)

Platonov, A. *Schastlivaya Moskva* [Happy Moscow] / Platonov, A. *Collected Works. Vol. 4.* Moscow, Vremya publ., 2011. 624 p. (In Russian)

Does happiness really happen in Andrei Platonov's stories?

Nikolai Murzin,
Institute of Philosophy RAS,
shywriter@yandex.ru

Abstract: The theme of happiness is one of the constants of Andrei Platonov's minor work. He reflects on it perpetually, turning it from positive to negative, and eventually concluding his 'quest for truth' in the idea of the world's and human existence' integral complexity, where happiness is interwoven with grief, emotions fuel the intensity of thought, individual life merges with the great stream of all-human fate, and romantic drive towards the unknown and uncommon comes into harmony with the deep, compassionate and accepting insight in the eternal and unchangeable nature of being.

Keywords: Andrei Platonov, happiness, grief, compassion, love, idealism, enthusiasm, the others, good, life.